

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Б91

Оформление *Андрея Саукова*

В оформлении обложки использована  
иллюстрация художника Pietro Scoppetta:  
De Agostini Picture Library /  
L. Romano / Bridgeman Images / Fotodom.ru

**Бунин, Иван Алексеевич.**

Б91 Митина любовь / Иван Бунин. — Москва :  
Эксмо, 2019. — 352 с.

ISBN 978-5-04-104603-3

Иван Бунин (1870–1953) — первый русский лауреат Нобелевской премии (1933), выдающийся мастер слова, безупречный стилист. Писателю свойственно понимание любви как роковой силы, любви-страсти. Лишь мгновения есть у влюбленных. Подлинное чувство для И. Бунина — всегда недостижимая вершина, к которой стремится человек, но никогда не обретает навсегда, до конца своих дней. В этом и заключена для писателя трагичность человеческого существования, обреченного не воплотить свое главное предназначение — любить.

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Бунин И.А., наследники, 2019  
© Оформление.  
ISBN 978-5-04-104603-3 ООО «Издательство «Эксмо», 2019

## ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

*Из воспоминаний детства*

Все это было бы смешно,  
Когда бы не было так грустно...

**М**итя!

- Митька!
- Дмитрий Алексеевич!
- Бледнолицая собака!
- Да вставай же ты, наконец!

Я уже проснулся, но старался показать, что страшно разоспался и не понимаю, в чем дело. Натягивая всеми силами на голову одеяло, которое тащили с меня Петя и Лева, я только мычал и брыкал ногами. Но они не унимались и, спрыгнув с подоконника, на котором сидели (влезли они из сада в окно), остановились около кровати.

— Вот какой ты! — пробормотал в нерешительности Петя. — Что с ним делать? Мы пропустим зарю...

— Уйдем, — своим обыкновенным, резким и отрывистым, тоном сказал Лева. — Он не товарищ, а баба, старый колелый лось! Влепим по кулаку и уйдем!

— Я, брат, так влеплю, что ты... умрешь! — неожиданно крикнул я, приподнимаясь и взмахивая кулаком так, как будто в нем что-нибудь было. В эту минуту мне казалось, что я необыкновенно грозен и дик.

Но Петя и Лева, к удивлению моему, разразились самым добродушнейшим хохотом и протянули мне руки.

Я, немного сконфуженный, пожал их, хмуро и нехотя, и опять упал на подушку.

— Ну, идем же, идем! — сказал Петя. — Мы в самом деле пропустим зарю.

Это было сказано так искренне-серьезно, что я сам испугался мысли пропустить зарю. На что нам была эта заря, для чего мы друг другу давали слово стеречь ее — я, право, теперь хорошо не объясню. Но тогда я думал, что это необходимо. Нам ужасно нравилось выходить из дому чем свет, когда еще и деревня, и темные поля, и далекий густой лес объаты мертвым сном и только на востоке небо покрывается серебряными, светлыми полосами. Тогда нам казалось, что мы совершенно одни и в свежем полутемном лесу действительно все таинственно и первобытно. Мы, как настоящие индейцы, забирались в самую чащу сада и, дожидаясь восхода солнца, садились в кружок и курили «трубку мира», или, иными словами, трубку, утащенную у моего дяди. И хотя я был уже лет двенадцати и отлично понимал, что все это игра, и даже совсем детская игра, но мне она так нравилась, что я не мог не наслаждаться ею.

Поэтому я сейчас же вскочил и стал натягивать чулки.

— Солнце ведь еще не взошло? — спросил я торопливо.

— Ты бы дрыхнул до обеда, — ответил Лева, — да потом бы и спрашивал.

«Пугает! Не так уж и поздно», — подумал я, подходя к умывальнику и ежась от утренней свежести, которая плыла в открытое окно.

Холодная струя воды заставила меня еще больше вздрогнуть и окончательно проснуться. Торопливо умывшись, я был уже готов к походу. Мы должны были отправиться нынче в дальний путь, в самый конец большого луга, который был у нас за садом. Там

начинался лес, и широкий луг переходил в узкие овраги, каменистые и изрытые весеннею водою. Сегодня мы намеревались выкурить там последнюю «трубку мира», чтобы распрощаться до лета. Был последний день пасхальных каникул, и дня через два я должен был ехать в Орел, в гимназию.

— Берите же, — скомандовал Лева, — поскорее луки.

Мы сейчас же надели луки и вылезли в окно на росистую траву сада.

Солнце еще только восходило. На траве лежало холодное матовое серебро росы, но по дорожкам земля уже отсырела и почернела. Светлый, зеркальный пруд слабо дымился. Но отражения высоких, стройных осин были еще неподвижны и ясны; соловей особенно звучно щелкал в молодой зелени. Утро только начиналось.

Мы шли вниз, к пруду, по широкой береговой аллее. Лева был предводителем. Он всегда любил быть первым, любил командовать нами, хотя и был моложе меня и Пети года на два. Выглядывал он еще совсем мальчишкой; коротко остриженные белые волосы торчали на макушке; сложение было еще совсем детское. Но, несмотря на это, он постоянно старался казаться большим, вечно сдвигал брови над бегающими и дикими, как у зверька, глазками и хвалился, или, точнее сказать, не хвалился, а искренне воображал, что он необыкновенно силен. Брови он сдвигал главным образом для того, чтобы казаться грозным; при игре в индейцы, когда мы назначали, кому кем или чем быть, Лева выбирал себе всегда роль какого-нибудь особенно кровожадного краснокожего; называл он себя постоянно «Черной пантерою», смеялся и дразнил Петю, когда тот, в какой-нибудь стычке с мальчишками, раненный, садился и горько плакал и т.д. Но в душе Лева был все-таки очень добрый и чуткий мальчик; по уму —

очень сообразительный и бойкий. Петя, напротив, был мальчик, которых можно встретить на каждом шагу.

Мы шли мимо пруда. Лева уже несколько раз сбежал к воде и изо всей силы бил палкою лягушек. Он уже вспотел, раскраснелся и измазал грязью, по своему обыкновению, руки, сапоги и штаны. Петя больше любовался природою.

— Что же, ты приедешь на лето сюда, к дяде, или уедешь к отцу? — спросил он меня.

— Непременно приеду сюда, — ответил я.

Лева обернулся в эту минуту и вдруг разразился самым веселым смехом.

— Чего ты? — в один голос спросили мы.

Лева продолжал хохотать.

— Я, брат, все знаю, — проговорил он наконец.

— Что ты знаешь? — удивился я.

— Про Сашу-то!

Я почувствовал, что моментально покраснел до самой шеи. Лева попал в самое больное место: я был в это время «страшно», как мне тогда казалось, влюблен в Сашу, его двоюродную сестру. Она обыкновенно проводила каникулы у отца Левы, так что, мечтая приехать на лето, я имел в виду единственно ее.

— Какую Сашу? — не зная, что сказать, спросил я и сам почувствовал, что сказал страшную глупость.

— Зачем ты лжешь, как старая баба? — вдруг строго перебил меня Лева. Глаза у него засветились, как у зверька, брови сдвинулись.

— Что я лгу? — спросил я тоже строго.

— Ты лжешь, что ты не знаешь, про какую Сашу я говорю, — отчеканил Лева, — а сам влюблен в нее...

Я моментально схватил лук с плеч и трясущимися руками наложил стрелу.

— Нет, ты лжешь! — закричал я, уже совсем растерявшись. — Я вот тебя сейчас...

Но Лева перебил меня:

— Я давно знал. Я не хотел говорить Пете... А вот теперь скажу... Только она уже вчера вечером уехала... Выкуси... А если хочешь выходить на бой — становись.

Лева тоже разозлился. Глаза бегали, щеки покраснелись.

— Не хочу я с тобою драться, — сказал я, всеми силами стараясь казаться спокойным. — А только ты сам дурак! И я не хочу больше с тобою идти.

С этими словами я повернулся и пошел опять в сад.

— Да на меня-то за что ж? — жалобно закричал Петя.

Но мне показалось, что они оба заодно хотели меня огорчить и сконфузить. «Братцы», — подумал я и потом, не оборачиваясь, крикнул:

— Подите вы к черту!

Итак, обстоятельства сложились весьма плохо: вместо мирной прощальной экспедиции вышла ссора, вместо окончательного свидания с Сашей — весть о ее отъезде, или, иными словами, — о разлуке с нею до самого лета. Я говорю «окончательного» потому, что думал перед отъездом улучшить минутку, чтобы объяснить с нею. Правда, уже раз я с нею объяснился, но тогда это как-то не вышло. Мы встретились у них в сених; я покраснел, почувствовал, как будто кто-то провел мне по волосам ледяною щеткою, ероша волосы; я даже не сказал «здравствуйте». Несмотря на то, что Саша была старше меня года на два, я постоянно ее конфузил. Она сама протянула мне руку.

— Что это вас давно не видно? — спросила она.

— Нет, я был недавно, — сказал я, — вы меня не видали.

— Вы, должно быть, были в саду?

— Нет, я и в доме был.

Саша засмеялась вдруг так звонко и мило, что я сразу ободрился, хотя и не понял, чему она смеется.

— Вы, должно быть, в шапке-невидимке были?

— Нет, в своем картузе, — сострил я и окончательно смешался.

— Ну как же я вас не видела? — добивалась Саша.

— Да вы всегда не хотите меня видеть.

— Как это не хочу?

Но я уже не слушал ее и, чувствуя, что мне становится все жарче и жарче, продолжал:

— Я не знаю, за что вы меня так не любите? Мне кажется...

— Вам бог знает что кажется, — перебила вдруг Саша, краснея, тихим и ласковым голосом. — Я, напротив... я даже во сне вас почти каждый день вижу...

Но в эту минуту загремели чьи-то дрожки, и Саша, быстро дотронувшись губками до моей щеки и моментально вспыхнув, исчезла за дверью.

Не успел я еще прийти в себя (у меня даже дух захватило от радости), как уж кто-то застучал по лестнице. Я нахлобучил картуз и, засвистав, что обыкновенно делал, чтобы скрыть неловкость, быстро сошел с лестницы, встретившись с приехавшим приказчиком, и через сад убежал домой.

Припоминая все это с особенной грустью и нежностью, я сидел один-одинешенек в гостиной. День был теплый, солнечный. В пустом доме (дядя с утра уезжал в поле, прислуга была на кухне) было всюду безмолвно и светло. На балконе дверь была отворена, и из сада иногда залетали пчелы и бабочки. Ветерок осторожно колебал молодую зелень березок. В саду кричали петухи, и как-то особенно весело, по-весеннему, раздавался их крик в этот апрельский солнечный день.

В раздумье я иногда вставал и подходил к отворенной двери балкона. Прислонившись к притолоке, я глядел вдоль по березовой аллее, где из свежей рыхлой земли и из-под прошлогодних листьев торчала ярко-зеленая травка; я чувствовал какой-то неясный садовый аромат, слушал музыкальное жужжание

пчел, гулкие удары валька на пруде, — и все нежнее и поэтичнее становилась моя тоска. Мне казалось, что я еще никогда не был таким молодым и прекрасным и вместе с тем таким одиноким и печальным. Я глядел в далекие поля, которые открывались с правой стороны сада, и невольно повторял с поэтом:

Что звенит там вдали, и звенит и поет?  
И зачем эта даль неотступно зовет,  
И зачем та река широко разлилась,  
Оттого ль разлилась, что весна началась?

«Что звенит там вдали, и звенит и поет?» — спрашивал я себя с особенною грустью. В ответ на это на глазах выступали слезы, и, стараясь скрыть их, я опять шел бродить по освещенному солнцем безлюдному дому.

— Что это ты сидишь, как шалелый? — спросил меня за обедом дядя.

Я едва мог ответить: моя нежность и поэтичность была оскорблена самым грубым образом.

К вечеру мне стало еще грустнее. Я ушел в поле, дошел до леса и лег на опушке. Лежа на своей шинели, я долго мечтал, до тех пор пока над стемневшими полями не засветилась серебряная звездочка — Венера.

Возвращаясь, я решил непременно съездить на другой день в город. Лева и Петя уже теперь там (они уехали перед вечером), и можно выдумать, что я к ним за книгами — за латинской грамматикой, например. А между тем можно увидеть Сашу, хоть еще раз поговорить, просить писать и т.д./

Подумав это, я почти повеселел и заснул спокойно. Но судьбе было угодно, как говорится, распорядиться иначе.

Дядя у меня был совсем старик — лет под шестьдесят. Человек он был очень странный и в высшей степени серьезный, по-солдатски исполнительный, ак-



куратный и строгий. Причиной этого была, главным образом, его долголетняя военная служба где-то в гарнизоне. Образования он не получил почти никакого и по выходе из военной службы поселился навсегда в деревне одиноким холостяком. Имение у него было небольшое, но средства прекрасные: он вел спартанскую жизнь и был неутомимый хозяин; в прежнее время он даже косил сам. Я у него любил гостить, разумеется, единственно из-за того, что в той же деревне на каникулах жила Саша.

Рано утром (дядя вставал до зари) я заявил ему о своем намерении.

— Что ж, поезжай, — сказал он.

— Только на какой же? — спросил я.

— Этого я уж не знаю.

Я запнулся. Дядя всегда любил такую манеру разговаривать.

— Я на чалой поеду, — наконец выговорил я.

— На чалой я поеду, — ответил дядя.

— Значит, на «лысой кобыле»?

— Я поеду парой, а ты знаешь, что разъездных лошадей весной у меня только две.

— Ну как же быть-то?

Дядя улыбнулся.

— Ну как же быть-то? — повторил и он. — Значит, надо ехать со мной.

«Ехать с дядей!» — уж одно это огорчило меня. Но делать было нечего. Я поскорее собрался, потому что дядя не стал бы ждать ни минуты, и через полчаса мы уже ехали в город, сидя вдвоем на телеге, высоко наваленной соломой.

Не стану подробно описывать наше путешествие, жаркое, знойное утро, облака густой пыли на большой дороге и несносно медленное движение за обозом, который мы нагнали. Обоз был очень длинный, и дядя, любивший всегда медленную езду, не стал объезжать

его. Пахнущие дегтем телеги были тяжело навалены кулями муки и запряжены седловатыми, огромными, но ленивыми меринами. Возчики, сидя на грядках, дремали, и казалось, что им совершенно безразлично, когда они доберутся до города. Только на одной телеге сидел мещанин, похожий на борзую собаку, и всю дорогу ругался со стариком, ехавшим сзади. Но старик, сутуловатый, толстый, с маленькими глазками и громадной рыжею бородой, по-видимому, ругаться умел очень плохо, и брань выходила вялая, так что не разгоняла скуки.

— Посмотрим, долго ли ты продержишься у само-го-то, — говорил мещанин, выплевывая подсолнухи и болтая ногами. — Посмотрим!

— Небось! — отвечал старик злобно и хрипло. — Небось! Уж если тебя, мошенника, держат...

— Меня-то будут держать! — перебивал мещанин.

— Все этаких чертей держат, — возражал старик.

— «Чертей», — передразнивал мещанин гнусливо, — «чертей!» Слезь, дьявол, высморкайся! Загундосил.

— Сам высморкайся! — повторял старик.

— Енот, дьявол! — не унимался мещанин.

Старик страшно обижался, вскакивал и кричал:

— Я не енот, а крещеный человек! Ты сам енот!

Но мещанин опять перебивал его...

Часов в десять утра (до города было верст двенадцать) мы, наконец, добрались и остановились на постоялом дворе.

Дорога, впрочем, не произвела на меня особенно неприятного впечатления. Думая, что часа через два я буду видеть Сашу, грациозную, веселенькую Сашу, я мало обращал внимания на все неудобства и на неприятности дороги. Но на постоялом дворе дело пошло хуже. Еще въезжая в ворота, дядя заметил, что под на-

весом на телеге лежит прекрасно отпоенный теленок, и сейчас же закричал его хозяину, сидевшему тут же:

— Дядя, что это привез продавать — бычка или телушку?

— Да, — флегматично ответил мужик.

Дядя после этого замолчал и, когда мы слезли с телеги, неизвестно куда скрылся. Я уже успел надеть воротнички (прифрантился) — его все нет. Я бросился, наконец, искать. Забежал в комнаты, где несносно заливалась канарейка, посмотрел еще кое-где — нету. Иду к телеге — навстречу мне дядя, а за ним мужик тащит к нам теленка.

— Купил теленка, — сказал мне дядя. — Ты тут посиди около него, а я схожу кое-что купить.

Меня даже в жар бросило.

— Как? Теленка караулить? — чуть не со слезами возопил я. — Что ж это такое?

— Что ж тут такого? — перебил дядя строго. — Конечно, караулить, — утащить могут. А сходить ты еще успеешь, я сейчас приду. Значит, посидеть можно. Если же неприятно — не ехал бы. Да и не поедешь уж отсюда — пешком, брат, попрешь, если не посидишь. Понял?

Что тут было делать? Тогда мне казалось, что дядя так строг, что легко может исполнить подобное обещание. Чуть не со слезами уселся я около проклятого теленка.

Жду... Проходит час — дяди нет. Телег наехало видимо-невидимо. Под навесом пахнет навозом, жара, духота. Просто смерть моя! Теленок лежит как околелый: глаза дурацкие, стеклянные, связанные задние ноги вытянуты, бока вздулись.

«Хоть бы околел, анафема!» — думаю я с тоскою, поколачивая его кулаками в бок. А обида, тоска все разрастаются.

Опять жду. Проходит еще час. В злобе, со слезами на глазах я, наконец, вскакиваю с твердым намерени-

ем уйти и бросить теленка. В это время показывается дядя. Сзади него мужик тащит новое колесо, мешок мелу, несколько «подвой» (железные прутья для сохи) и еще что-то в кулечке.

Я бросился к дяде:

— Что же это, дядя, ты до сих пор?

— Заговорился с знакомым мещанином, — спокойно ответил дядя, — да вот и опоздал. Нам пора бы теперь в дороге быть. Поскорей запрягать надо.

— Как — запрягать? — едва мог я выговорить. — А я-то?

— У меня дела посерьезней твоих, — отрезал дядя. — Не забивай глупостями мне голову. Я все равно сейчас поеду, а за книгами к Пете мы можем заехать.

Я прикусил губы чуть не до крови и побрел к калитке.

— Хорошо же! — вскрикнул я в порыве злобы и отчаяния. — Хорошо же! Уйду, непременно уйду! — И, прислонившись к калитке, я заплакал. Поплакав, я несколько успокоился. Я поглядел красными глазами по пыльной улице и вдруг почувствовал, что мне уже несколько не хочется видеть Сашу. Теперь все равно свидание с нею не могло быть таким светлым моментом. Мне казалось, что в душе у меня не осталось уже ни капли любви.

Я махнул рукой и, хмурясь, влез на телегу. Но, влезая, я подумал, что все-таки не худо бы хотя на минутку поглядеть на Сашу, хоть попросить бы писать мне... Мы тронулись.

— Я забегу хоть в женскую гимназию, — начал я, — и скажу Саше, чтобы она передала Пете о грамматике. А он теперь еще в классах.

— Так мы поедем туда, — сказал дядя.

— Да нет, мужская гимназия на другом конце города, далеко.